

Leonid Malcew
Kaliningrad

Витольд Гомбрович о славянской литературе

С 2004-го, года 100-летия Гомбровича, польский писатель стал известнее в России. На книжных полках – русские переводы нескольких романов. В Институте славяноведения РАН состоялась конференция *Гомбрович в европейской культуре*; среди докладов, особо актуальных для нашей темы, выступления О. В. Цыбенко *Гомбрович в традициях русской литературы*, В. А. Хорева *Славомир Мрожек о Гомбровиче* и С. А. Шерлаимовой *Милан Кундера о Гомбровиче*¹.

Декабрьский номер журнала „Иностранная литература”, посвященный юбилею писателя, собрал фрагменты его дневниковой прозы, эссе польских и зарубежных авторов. Русская критика до последнего времени не уделяла Гомбровичу должного внимания, существуют разве что единичные подступы к многозначному наследию прозаика².

Постановка проблемы: Гомбрович и славянские литературы, не первый взгляд, парадоксальна. Гомбрович менее всего мыслил категорией славянской взаимности. Более того, писатель ярко выраженной индивидуалистической философии далек от любой идеи взаимности. Вопреки этому „славянскость” – как попробуем доказать – играет в прозе Гомбровича важную психологическую и культурную роль.

Со времен романтизма положение изгнанника, эмигранта располагало к историсофской и историко-литературной рефлексии³. При огромном отличии литературоведческих частей *Дневника* от парижского курса лекций, для Гомбровича актуален тезис Мицкевича: „Невозможно понять историю народа, не проникнув вглубь ее литературы”⁴. Гомбрович мыслит

¹ В печати сборник материалов конференции.

² См. напр.: А. Базилевский, *Витольд Гомбрович: „боязнь нежизни”*, „Иностранная литература” 1991, № 4; idem, „Дневник” Витольда Гомбровича: „не слово, а голос”, [в:] *Привычное ощущение кризиса (в „соцлагере” и вокруг)*, Москва 1999; С. В. Клементьев, *Гротеск и его идейно-художественная функция в романе В. Гомбровича „Фердидурке”*, [в:] *Studia Polonorossica. K 80-letiu E. Z. Cybenko*, Москва 2003.

³ См. об этом: М. Piłwińska, *Prelekcje o Polsce dla Zachodu. Mickiewicz – Miłosz*, [в:] idem, *Wolny myśliwy*, Gdańsk 2003.

⁴ А. Мицкевич, *Собрание сочинений*, Москва 1954, т. 4, с. 131.

идентично с Мицкевичем: „Narody zwracają się zatem do swoich artystów, aby oni wydobywali z nich piękność, i stąd w sztuce piękność francuska, angielska, polska i rosyjska” (1,353)⁵. И вот в *Дневнике* отражение славянской – польской литературы в кривом зеркале сознания и истории. Гомбрович прибегает к пародии; отталкиваясь от традиции поэта-пророка, создает вызывающий, дерзкий образ нового Моисея, который выводит народ из рабства „национальной формы”.

В лексиконе писателя слова „славянин”, „славянский” заметны обязательным оценочным контекстом. Так, Доминику де Руа Гомбрович признается в „славянской” нерегулярности самообразования: „Ale tępy byłem, ociężały, jakaś wiejska niezgrabność – i szlachecka naiwność – i słowiańska rozlewność – wchodziły mi w parady, czułem się głupio”⁶. Почти то же самое в письме Мартину Бубуру: „Naturalnie, Pan wypowiada się z powagą i ze ścisłością filozofa, a ja z »nieokiełznaniem« artysty i... Słowianina”⁷. За то в *Дневнике* „славянскость” – это знак вызова иерархическому противопоставлению культур передовых и отсталых: „Ja Polak... ja Argentyńczyk... Słowianin i Południowy Amerykanin... literat zgubiony w Paryżu [...] szukałem Przymierza z Sartrem przeciw Paryżowi” (3,122). Следовательно, говорит Гомбрович, писателю-славянину может быть присуща „пространность” и „веле-речивость”, „неуклюжесть”, „натвность”, „необузданность”, – в общем, „сельскость”, „провинциальность”. Ряд эпитетов можем ограниченно дополнить центральной категорией Гомбровича „молодости”, или „незрелости”. Итак, славянская культура, по Гомбровичу, „молода”, „незрела”, и здесь начало как ее комплексов, так и неожиданных преимуществ.

Достаточно беглого обзора *Дневника*, чтобы заключить: Гомбрович дает развернутую оценку исключительно польской литературе. Это не значит, что остальные выпадают из поля зрения, просто на них распространяется правило метонимического переноса. По Гомбровичу, большинство славянских литератур, в том числе польская, национально герметичны, сияются искусственно „дорости” до западноевропейских образцов и поддерживаются патриотической риторикой. При всей спорности крайне негативной оценки патриотизма, проблема, поставленная Гомбровичем, всеобща. Писатель настаивает, что проблема „польскости”

⁵ W. Gombrowicz, *Dziennik*, Kraków 1997, т. 1–3. Цитируется здесь и далее по этому изданию с указанием тома и страницы в тексте.

⁶ W. Gombrowicz, *Testament. Rozmowy z Dominique de Roux*, Kraków 2004, с. 15.

⁷ R. Gombrowicz, *Gombrowicz w Argentynie 1939–1963*, Kraków 2004, с. 166.

zatrąca i nie polskiego i nawet nie sławiańskiego czytelnika: „Ustępów mojego *Dziennika*, dotyczące polskości, zostały przeczytane przez czytelnika zachodniego. Mówiono mi nawet: lepiej by było, żeby Pan to usunął, cóż nas to może obchodzić! Czas już by synowie kultur wyższych przestali zbyt pośpiesznie zadzierać nosa. Postawcie pod słowo »Polska« Argentynę, Kanadę, Rumunię itd., a moje wywody (i moje cierpienia) rozszerzą się wam na sporą część świata, na wszystkie kultury europejskie wtórne, drugorzędne. Przyjrzyjcie się lepiej: zobaczycie, że to sprawa jadowita, które i was nie oszczędzą”⁸. Проблемы европейского Запада и европейского Востока Гомбрович решает, как и все другие проблемы, сквозь призму „формы”, как поединок культур „зрелых”, в которых „форма” огранично срослась с душой народа, и „незрелых”, в которых жизнь упрямо избегает „формы” и смеется над ней. Между Востоком и Западом, по Гомбровичу, особую роль играет Польша, в которой „odbywała się od dawna wielka Kompromitacja Formy i jej Degradacja”⁹.

Из русских писателей особо устойчив интерес Гомбровича к Достоевскому, который, по меньшей мере, в двух контекстах странно упомянут... в ряду писателей Запада. Так, по Гомбровичу, „nam, synom Wschodu, zaczyna torpieć problem indywidualnego sumienia [...], a Lady Macbet i Dostojewski stają się niewiarygodni” (1,35). В очерке *Сенкевич* (о котором ниже) также доказывается взаимная непроницаемость литературы Мицкевича, с одной стороны, и литературы Бодлера, Уайльда, Рескина, По, Достоевского, с другой. Что это – ошибка? Польская литература, согласно Гомбровичу, национальна, но адресована не столько поляку, сколько Польше в целом; литература Запада (и Достоевский) – универсальна, но адресована не столько человечеству, сколько индивиду в частности, его „индивидуальной совести”. Сходную „ошибку” в лекции *Литература и польская жизнь (Literatura a życie polskie)* совершил еще Стефан Жеромский, противопоставивший польский и западный вид творчества, причисливший к литературе Запада, наряду со Стендалем и Флобером, Достоевского¹⁰. Оба писателя национальное и универсальное противопоставляют, но если Жеромский – за продолжение традиции, то Гомбрович – за ее ревизию.

Итак, русский писатель как испытатель „индивидуальной совести”. Таков взгляд на Достоевского сквозь западную призму „породы моралистов”, в первую очередь Камю. Гомбрович соглашается с этим

⁸ W. Gombrowicz, *Testament...*, с. 31–32.

⁹ Ibidem, с. 32.

¹⁰ См. подробнее: А. Менцвел, *Przedwiośnie czy Potop. Studium postaw polskich w XX wieku*, Warszawa 1997, с. 55–70.

устоявшимся представлением и... опровергает его. В *Дневнике* 1960 года приводится отрывок дружеского спора, в котором автор защищает позицию, что „w *Zbrodni i karze* nie ma dramatu sumienia w klasycznym, indywidualistycznym znaczeniu tego słowa” (2,199). В событиях *Преступления и наказания* Гомбрович видит эффект не „индивидуальной”, а „межчеловеческой” совести. Интерпретация „зеркального суда” над Раскольниковым настолько смыкает с философией Гомбровича, что роман Достоевского, в его толковании, – это почти что... роман Гомбровича: „Raskolnikow nie jest sam – jest umieszczony w pewnej grupie osób, Soni... sędzia śledczy... siostra i matka... przyjaciel i inni... taki jest ten światek. [...]. On dla siebie samego jest mgławicą, a mgławicy wszystko wolno. Ale wie, że inni widzą go wyraziściej, ostrzej, choć powierzchowniej i, dla nich, sąd nad nim byłby już możliwy. [...] ale to sumienie nie jest jego i on to czuje. Jest to szczególne sumienie, powstające i wzmagające się pomiędzy ludźmi, w tym systemie odbić – gdy jeden przygląda się w drugim” (2,199–200). Гомбровическая мотивировка поступков Раскольникова проясняет события романа, но лишь отчасти. Польский писатель приходит первый этаж индивидуального создания героя, но „останавливается” на втором этаже „межчеловеческой” совести, не восходя выше – к совести „абсолютной”, обнаруживающей себя в разговоре-молитве с Богом¹¹. Достоинство неортодоксальной интерпретации романа, на наш взгляд, – в преодолении стереотипа „индивидуалистической совести” (которому, в некоторой мере, был подвержен сам Гомбрович). Трактовка польского писателя подсказывает необходимость пересмотра истин, раз и навсегда признанных окончательными.

Автор *Дневника* за 1953 год дважды упоминает *Братьев Карамазовых*. Правда без аналитического комментария, что позволяет домыслить комментарий самому читателю. Единственное слово, которым обмолвился писатель, касается известных карикатур поляков в романе Достоевского. Для Гомбровича они есть повод к обыгрыванию стереотипа: поляку, считает он, важно не оскорблять, но забавляться, демонстрируя самокритику и самоиронию. На Западе и Востоке, поляк видится по-разному: в России он человек западной „фирмы”, т. е. „jest Polakiem określonym i z góry wiadomym”, а например, во Франции страдает именно из-за бесформенности, „ma mętne oblicze, pełne niejasnych gniewów, niedowierza-

¹¹ См. об этом: W. Gombrowicz, G. Herling-Grudziński, *Dwugłos o sumieniu Raskolnikowa*, [в:] G. Herling-Grudziński, *Pisma zebrane. Godzina cieni*, Warszawa 1997, с. 111–117.

nia, tajemniczych zadrażnień” (1,25). Чтение *Братьев Карамазовых* совпало с изданием романа *Транс-Атлантик* и первыми дискуссиями вокруг него. Может, здесь ключ для критики по Гомбровичу? Тогда когда действие *Карамазовых* описывается на возможность и на совершение отцеубийства, в романе *Транс-Атлантик* явлена лишь возможность, но не совершение этого преступления. Милиционер-провокаатор подговаривает сына шляхтича к отцеубийству и даже обосновывает его идеологически: на смену чтимой поляками Отчизны грядет эфемерное будущее, обозначенное неологизмом „Сынчизна”. Игнаций защищается от уговоров смехом, который по Гомбровичу, есть стопроцентной возможностью ускользнуть из любой „формы”. Генезис *Транс-Атлантика* в *Братьях Карамазовых* мог бы стать обещающей темой отдельного исследования¹².

Достевский необходим Гомбровичу по многим причинам, в том числе – для выражения польской ментальности и польской литературы в кривом зеркале отчужденного взгляда. Если выстроим ряд эссе о Генрике Сенкевиче и фрагменты из *Дневника* от 1955 года, увидим цельный очерк истории польской литературы с XVI века и заканчивая 1939 годом. Историко-литературный цикл Гомбрович подчиняет проблеме „сотворения красоты”. Само прекрасное в разные эпохи может являться как в единстве, так и вне единства с добродетельным, в неоднозначном соотношении с безобразным и греховным. Для ответа, что представляет историко-литературный опыт Гомбровича, обратимся к статье поэта-романтика Зыгмунта Красиньского *Несколько слов о Юлиуше Словацком (Kilka słów o Juliuszu Słowackim)*, а именно к противопоставлению „центростремительных” и „центробежных” сил поэзии соответственно в творчестве Мицкевича и Словацкого¹³. Естественно, Гомбровичу ближе „центробежный” Словацкий¹⁴. Согласно логике Гомбровича, в литературе

¹² Под тем же углом рассматривается драма *Венчание*.

¹³ По Красиньскому, в Мицкевиче „nade wszystko pomaga siła dośrodkowa, siła wcielań i twierdzeń, wola, i czucie, i wiara – one są granitowym jądrem naszej literatury”, зато в Словацком „objawia się ta druga konieczna, ośrodkowa siła, siła odwcielań i zaprzeczeń, której pęd [...] stara się wyrazić westchnienia wszystkich ciał natury i rwania się wszystkich myśli ducha ku niewidzialnemu światu nieskończoności”. См.: Z. Krasiniski, *Kilka słów o Juliuszu Słowackim*, [в:] idem, *Dziela*, Warszawa 1934, t. 1, s. 455.

¹⁴ Несмотря на хрестоматийную комическую сцену романа *Фердидурке*, в которой учитель тщетно пытается внушить ученикам, что „Словацкий великим поэтом был”. По свидетельству Тадеуша Кемпиньского, друга детства, Гомбрович, холодно относясь к Сенкевичу, любил Словацкого, знал наизусть многие его произведения. Зато много позже заметит, что Сенкевич „как вино”, а Словацкого отнесет к категории „скудных поэтов”. См. Т. Kępiński, *Witold Gombrowicz i świat jego młodości*, Kraków 1976, s. 94.

есть „центростремительные” и „центробежные” эпохи. В одни кристаллизуется национальная „форма” поэзии, в другие происходит распад, дезинтеграция этой »формы«: автор романа *Фердидурке* выражает похожий процесс материально-предметным символом „куру” т. е. „кучи”.

„Центростремительные” эпохи – Возрождение и Романтизм; и та, и другая полноправно может считаться „золотым веком” литературы. Однако, не по Гомбровичу: „польская красота” Яна Кохановского и Адама Мицкевича идеализирована, а значит, безжизненна. В ней сказался романтический эскапизм, из-за которого польская добродетель „*jest jak pancierz Don Kiszota, którego lepiej nie wystawiać na ciosy*” (1,362). Переходя от общего к частному, мы чувствуем крайнюю уязвимость аргументации Гомбровича. Так Мицкевич странным образом предстает не бунтарем-романтиком, а поэтом сентименталистского или даже классицистического толка, проповедником умеренности: „*Mickiewicz, poeta narodowy pokonanego narodu, narodu o zredukowanej żywotności, w gruncie rzeczy bał się życia, nie był on z tych artystów, którzy drażnią byka, którzy prowokują, rozpalają do białości rzeczywistość, aby potem dopiero ująć ją w karby estetyki, moralności. [...] Sztuka Mickiewicza to raczej ostrożne hamowanie, to wystrzeganie się »złych myśli« i podniecających widoków*” (1,356). Но ведь достаточно прочесть несколько слов *Большой импровизации* – убедимся, что Мицкевич вовсе не „остерегался злых мыслей”, достаточно открыть *Крымские сонеты* – и увидим не один „распалаяющий” воображение пейзаж!

Центральным объектом наступления на польскую классику стал все же не автор *Пана Тадеуша*, а Сенкевич. Критика Гомбровича возникла из страстной „переоценки ценностей”, которая в русской жизни еще до того обозначилась у Писарева или футуристов. Уничижительные высказывания о Сенкевиче ошеломляют: „*To Homer drugiej kategorii, to Dumas Ojciec pierwszej klasy*”; „*Sienkiewicz (ten demon, ta katastrofa naszego rozumu, ten szkodnik*”¹⁵ (обе цитаты – 1,352); „*geniusz, którym lepiej nie chwalić się przed zagranicą*” (1,359). Сенкевич приятен, но посредственен, „*zdołał przyrządzić słodkawy likier, który najbardziej smakuje kobietom*” (1,358). В Сенкевиче, по Гомбровичу, наименее требовательном, но наиболее очаровательном из польских классиков, „нарциссизм” польской литературы достиг апогея и стал одновременно массовым.

¹⁵ Критика Сенкевича по силе экспрессии порой приближается к войне с Гоголем, которую вел Розанов. См. опыт сопоставления в моей статье: *Witolda Gombrowicza i Wasilija Rozanowa walka z formą*, „Przegląd Humanistyczny” 2006, nr 4.

Гомбрович создает пять очерков миниатюр о писателях, предшествовавших независимой Польше, сформировавших ее художественные идеалы. Подход субъективен, а потому неизбежно частичен: воссоздается не личность в ее многосложности, а определенный тип писателя. Так, Сенкевич – тип беллетриста, любимца публики, пользующегося немалым спросом в Народной Польше. Жеромский – учитель, гражданин, „совесть нации”, в котором долг вытесняет чувство, как несправедливо судит Гомбрович. Выспяньский – антипод Сенкевича, художник абстракции и декорации, глашатай искусства, которое – снова неверно заключает автор *Дневника* – никогда не сходит на землю¹⁶. Пшибышевский – „жрец искусства”: имморалист, эгоцентрист и идолопоклонник. Каспрович – крестьянствующий интеллигент, вошедший в роль и не способный выйти из нее. Таковы „миниочерки” польских классиков, способные напомнить портреты Альфы, Беты, Гаммы и Дельты из книги *Поработанное сознание* Чеслава Милоша. Можно согласиться с тезисом Гомбровича об авторитетности и даже авторитарности „польской формы” в литературе, но рискованно принимать на веру, якобы эта литература утратила всякий контакт с „действительной жизнью”.

„Центростремительным”, собирательным эпохам Гомбрович противопоставляет времена гротеска, так называемой „недействительности”. И здесь парадокс „перевернутой” логики: крайне неудачную, бесплодную эпоху – „саксонскую ночь” первой половины XVIII века – Гомбрович считает шансом самопознания польской души. Предчувствие катастрофы, взгляд в будущее *de profundis*, открыло бы перед польской литературой новые горизонты, если бы... не Мицкевич. „Jaka szkoda niepowetowana, że saska groteska nie została doprowadzona do swych ostatecznych konsekwencji” (1,355), – восклицает Гомбрович. Вопреки автору, это было бы равносильно развитию болезни вплоть до „окончательных последствий”. Но польский писатель, видимо, под мощным впечатлением Достоевского, сохраняет надежду, что за падением взлет, за осознанием дисгармонии – обретение красоты и смысла. Следующим шансом литературы гротеска Гомбрович, уже обоснованно, называет межвоенное двадцатилетие, которого свидетелем был сам.

Межвоенной поэзии, прозе, критике, журналистике писатель посвящает историко-литературный обзор и одновременно мемуары. И снова Гомбрович верен себе, заявляя, что независимая Польша, как и ее

¹⁶ Достаточно пары цитат из *Свадьбы*, чтобы опровергнуть упрек в абстрактности.

литература, „не удалась”. Разве что сатира, сила которой „polega na nakłuwaniu balonów” (1,258), вселяет в писателя оптимизм. Виной неудачи – поэзия, по автору *Дневника*, самый „формалистический”, самый далекий от действительности вид литературы¹⁷. Межвоенную поэзию Гомбрович небезосновательно критикует как „групповую”, но „забывает”, что, например, Ивашкевич или Галчиньский стали, в конечном счете, вне групп, обрели художественную самоценность.

Комментарии Гомбровича нередко вызывают несогласие, иногда – протест. Но они побуждают к вечному обновлению интерпретаций, „провоцируют” читателя на спор с автором. Предметом рефлексии Гомбровича, в традиции славянской мысли, является национальный характер и национальная идея и раскрытие в литературе.

Streszczenie

Witold Gombrowicz o literaturze słowiańskiej

W artykule są rozpatrywane historycznoliterackie poglądy Witolda Gombrowicza, wyrażone w *Dzienniku* i w uzupełniającym szkicu *Senkiewicz*. Autor udowadnia, że psychologiczna i kulturalna „słowiańskość” odgrywa w świadomości pisarza istotną rolę. Przykładem są oceny twórczości Fiodora Dostojewskiego i przegląd historycznoliteracki piśmiennictwa polskiego XVI–XX w.

Summary

Witold Gombrowich about Slavic literature

In the present article Witold Gombrowich's views represented in *The Diary* and in the supplement essay *Senkewich* are considered. The author proves that psychological and cultural Slavonic basis has a special part in the writer's conscience. The system of the judgments about Fedor Dostoevsky's works and historical and literary review of the Polish philology from the 16th till 20th century corroborate it.

¹⁷ Об этом см. очерк *Против поэтов*.